

# У ГОРЬКОГО.

... Медленно и тепло течет разговор; споры по вопросу об учебе писателя сменяются воспоминаниями о Каприйском житье-бытье, рассказ о том, как неаполитанцы помогали детям жертв мессинского землетрясения чередуется с эскизами набросками личности Бугрова.

Память у Алексея Максимовича совершенно невероятная. Люди и вещи, события и происшествия, числа и времена сообщаются им с такими подробностями, с такой точностью, какие не под силу не только средней человеческой памяти, но и самой острой.

Но самое замечательное это то, что лишь на мига позже разговора с ним оцениваешь эти его свойства. Когда он говорит, ты просто не в силах обращать на что бы то ни было свое внимание, кроме темы его рассказов. Просто и сильно, увлекательно и интересно, говорит этот человек, милый и нужный, обаятельный и строгий.

Трудно, почти невозможно, восстановить в памяти все, о чем он расспрашивал, и что он сообщал. Ты захлестнут, ты покорен громадой знаний, жизненного опыта и любви к людям.

Любовь к людям—основной стержень его чувств. Любой спор, любые темы, немедленно вызывают в его памяти случаи из его жизни, так или иначе иллюстрирующие, т.-е. низводящие на землю предмет отвлеченного разговора. И прежде всего, и больше всего он говорит о людях,—героях или мещанах, злодеях или пощляках, несчастных или счастливых, смельчаках или трусах.

\*\*

— Вы говорите об отцах и детях. А вот я вам кое-что скажу о священнике в Арзамасе,—замеча-а-ательный человек! Многие ли старики могут похвастаться такой жизнью?..

Был я сослан в Арзамас под надзор полиции. Не всякий «порядочный» человек осмеливался на меня глядеть,—не то что вести со мной знакомство.

Сижу я однажды поздно вечером дома, а на улице дощдище—неимоверный. И вдруг—стучат в дверь. Я недоумеваю: кто это может прийти ко мне, да еще в такую погоду?

До-нельзя мокрый, входит в комнату человек в одежде священника. Это меня совсем поразило.

Однако, не выказываю недоумения, даю ему кой-какую сухую одежду, вадуваю самовар. За чаем, после некоторого времени обоюдного осматривания, начинаем разговор.

— И как это вы, батюшка, заплыли ко мне, злакому грешнику?

— А очень просто. Если я буду только к праведникам ходить, как же я смогу дело свое делать? К грешнику идти—самый раз.

Начало было многообещающим. Короче говоря, я очень сдружился с ним, ищущим и алчущим, часто с ним спорил и очень часто слушал его разглагольствования по поводу его философской книги, которую он, впрочем, так и не кончил.

Горький потирает руки и смеется себе в усы.

— Этот священник, надо сказать, спас город. Дело в том, что в Арзамасе не было воды. Жители принуждены были пить воду из прудов, грязную и затхлую. Можно себе представить, сколько было в городе больных и худосочных по этой причине.

В течение многих лет он ходил далеко за город искать почвенные воды. И что ж вы думаете? Он нашел

в одно место,—в овраг,—чтобы собрать достаточное количество воды для города. И он сам,—сам!—примитивнейшими орудиями пытался это сделать. И только тогда, когда многие убедились в пользе его дела, ему удалось с агитировать мужиков помочь ему.

А город получил прекрасную, вкусную воду...

Горький задумывается и все вокруг него задумываются о радости человеческого труда на общую пользу и о величию человеческого хотения и настойчивости.

— Чем же он стал после революции?—спрашиваю я.

Алексей Максимович тонко и радостно улыбается.

— Ну как вы думаете?

Отказываюсь гадать.

— Заведующим отделом народного образования! Да-с!

И весело потирая руки, прибавил по привычке:

— Замеча-а-тельный человек!

\*\*

— Иду это я в Самаре ночью мимо пристани. Вдруг слышу: в воде, между двумя баржами, кто-то барабанится и во все горло орет:

— Карраул!

Мигом влезаю в воду, к удивлению своему чувствуя, что совсем мелко. Выволакиваю за волосы на берег какое-то существо, оказавшееся блестательно пьяным мужчиной.



Горький с сыном «Максимкой» в Н.-Новгороде.

— Что же ты орал? — говорю,—ведь здесь совсем неглубоко, а чалки рядом.

— Очень просто,—хладнокровно отвечает спасенный,—хотел поглядеть, какой дурак полезет в воду. А за то, что за волосы тащил—гони полтинник, а не в полицию поведу...

Что мне оставалось делать? В полиции дел у меня не было, полтинника тоже не было. Сговорились на 35-ти копейках.

Впрочем, если бы я не боялся сесть в тюрьму совсем не за оскорбление волос, я бы в участок пошел. А то обида!

За то, что спас—тридцать пять копеек отдал.

Несправедливо!

Кругом смеются. Максимыч медленно встает и уходит в кабинет работать. Наступили его «неприкословимые часы».

А. Безыменский.